

КАРЬЕРА РУГОНОВ



Художник
ГЕКТ ПЕЙДЖ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я хочу показать небольшую группу людей, ее поведение в обществе, показать, каким образом, разрастаясь, она дает жизнь десяти, двадцати существам, на первый взгляд глубоко различным, но, как свидетельствует анализ, близко связанным между собой. Наследственность, подобно силе тяготения, имеет свои законы.

Для разрешения двойного вопроса, о темпераментах и среде, я попытаюсь отыскать и проследить нить, математически точно ведущую от человека к человеку. И когда я соберу все нити, когда в моих руках окажется целая общественная группа, я покажу ее в действии, как участника определенной исторической эпохи; я создам ту обстановку, в которой выявится сложность взаимоотношений, я проанализирую одновременно и волю каждого из ее членов, и общую устремленность целого.

Ругон-Маккары, та группа, та семья, которую я собираюсь изучать, отличается безудержностью вожделий, мощным стремлением нашего века, рвущегося к наслаждениям. В физиологическом отношении для них характерно медленное чередование нервных расстройств и болезни крови, которые проявляются из рода в род как следствие первичного органического повреждения и определяют, в зависимости от окружающей среды, чувства, желания и страсти каждой отдельной личности — все естественные и инстинктивные проявления человеческой природы, следствия которых носят условные названия добродетелей и пороков. Исторически эти лица выходят из народа, они рассеиваются по всему современному обществу, добиваются любых должностей в силу того глубоко современного импульса, который побуждает низшие классы пробиваться сквозь социальную толщу. Своими личными драмами они повествуют о Второй империи, начиная от западни — государственного переворота — и кончая седанским предательством.

В течение трех лет я собирал материалы для моего большого труда, и этот том был уже написан, когда падение Бонапарта, которое нужно было мне как художнику и которое неизбежно должно было,

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

по моему замыслу, завершить драму, — на близость его я не смел надеяться, — дало мне чудовищную и необходимую развязку. Итак, мой труд закончен, он движется в замкнутом кругу; он превращается в картину умершего царствования, необычайной эпохи безумия и позора.

Этот труд, включающий много эпизодов, является в моем представлении естественной и социальной историей одной семьи в эпоху Второй империи. И первый из эпизодов, «Карьера Ругонов», имеет научное название — «Происхождение».

Эмиль Золя
Париж, 11 июля 1871 года

I

Если выйти из Плассана через Римские ворота, расположенные у южной заставы, то вправо от дороги в Ниццу, за первыми домами предместья, окажется незастроенный участок, известный в этой местности под названием пустыря Святого Митра.

Пустырь Святого Митра тянется довольно большим прямоугольником вдоль дороги и отделен от нее только полоской вытоптанной травы. Справа проходит небольшая улица с ветхими домишками, которая кончается тупиком; слева и в дальнем конце пустырь огорожен замшелой каменной стеной, а над нею поднимаются ветви тутовых деревьев большой усадьбы Жа-Мефрен, ворота которой выходят в предместье. Пустырь, замкнутый с трех сторон, представляет собой нечто вроде площади, но она никуда не ведет, и по ней проходят только для прогулки.

В давние времена здесь было кладбище Святого Митра, провансальского святого, весьма чтимого в здешних краях. Еще в 1851 году старожилы Плассана вспоминали о стенах старого кладбища, заброшенного много лет тому назад. Земля, более века поглощавшая трупы, пресытилась смертью, и пришлось открыть новое место погребения, на другом конце города. А старое кладбище с каждой весной очищалось, покрываясь томной, густой растительностью. Жирная земля, из которой заступ могильщика при каждом ударе извлекал человеческие останки, оказалась невиданно плодородной. После майских дождей и июньского зноя зелень разрасталась так буйно, что с дороги виднелись над стеною верхушки кустов, а внутри расстилось темно-зеленое море, глубокое, усеянное большими, необычайно яркими цветами. Чувствовалось, что внизу, во мраке, под сплетением стеблей в сыром черноземе, бурлят, поднимаются соки.

В те времена достопримечательностью кладбища были грушевые деревья с узловатыми, искривленными сучьями; они приносили необыкновенно крупные плоды, на которые не позарилась бы, однако, ни одна плассанская хозяйка. Горожане говорили о кладбищенских грушах с гримасой отвращения; но мальчишки предместья, не

отличавшиеся брезгливостью, в сумерки ватагами взбирались на стены и рвали груши, не давая им даже созреть.

Кипучая жизненная сила трав и деревьев быстро переборола смерть, царившую на старом кладбище. Цветы и плоды жадно поглощали человеческий прах, и настало наконец время, когда до людей, проходивших мимо этой клоаки, доносился только терпкий аромат диких левкоев. Для этого понадобилось всего несколько весен.

Тут город начал подумывать о том, как извлечь пользу из коммунального достояния, пропадающего без толку. Снесли каменную стену вдоль улицы и тупика, выволокли траву, срубили грушевые деревья. А потом перенесли кладбище. Почву вскопали на несколько метров вглубь и свалили в угол кости, отданные землей. Мальчишки оплакивали гибель грушевых деревьев, но зато целый месяц катали черепа, как шары, а раз ночью досужие шутники привязали человеческие кости ко всем дверным звонкам в городе. Безобразные выходы, о которых Плассан не забыл и поныне, прекратились, когда наконец решили захоронить кости в яме, вырытой на новом кладбище. Но в провинции работы производятся с мудрой медлительностью, и жители Плассана в течение целой недели наблюдали, как по улицам проезжает одна-единственная телега, перевоза человеческие останки навалом, точно строительный мусор. Хуже всего было то, что с телеги, которая тащилась через весь город и тряслась по ухабам, при каждом толчке сыпались кости и комья жирной земли. Останки перевозили неторопливо, с грубым равнодушием; и помину не было о религиозной церемонии. Никогда еще город не испытывал такого омерзения.

Прошло много лет, но бывшее кладбище Святого Митра по-прежнему внушало ужас. Пустырь у проезжей дороги, открытый всем и каждому, все еще не был заселен, и скоро им снова завладели сорные травы. Город рассчитывал продать его под застройку, но покупателей не находилось. Возможно, что их отпугивало воспоминание о гряде костей и о той одинокой телеге, которая тащилась взад и вперед по улицам, навязчиво, как дурной сон. Вернее же, причину следовало искать в обычной провинциальной лени и косности; провинция боится и разрушения, и созидания. Так или иначе, город оставил участок за собой и в конце концов забыл о том, что хотел его продать. Пустырь даже не обнесли забором — входи кто хочет. И вот с годами к заброшенному месту стали привыкать; люди отдыхали на траве у края пустыря, проходили через него, обжили его. Ноги прохожих вытоптали травяной ковер, земля стала серой и твердой, и бывшее кладбище начало походить на плохо утрамбованную пло-

щадь. А чтобы окончательно изгнать из памяти обывателей неприятное воспоминание, их незаметно, исподволь, подготовили к перемене названия: сохранили только имя святого, присвоив его также и тупику в углу пустыря; так возникли площадь Святого Митра и тупик Святого Митра.

Все это было давно. Вот уже тридцать лет, как площадь Святого Митра сохраняет свой особый облик. Бездеятельный и сонный город не использовал пустырь и сдал его за ничтожную плату каретникам предместья, которые устроили там склад лесных материалов. Еще и в наши дни площадь загромождена огромными, десяти-пятнадцатиметровыми балками, похожими на высокие рухнувшие колонны. По всему полю, из конца в конец, тянутся груды балоков, разбросанных на земле; это излюбленное место ребятишек. Кое-где бревна скатились и покрывают землю как выпуклый настил, по которому можно пройти только с ловкостью акробата. Гурьба мальчишек с утра до вечера предается этому упражнению. Они перепрыгивают через широкие доски, гуськом проходят по узкому ребру балоков, катаются на них верхом, придумывают разные игры, которые обычно кончаются дракой и слезами; или усаживаются рядком, тесно прижавшись друг к другу, на конце бревна, приподнятого над землей, и качаются часами. Пустырь Святого Митра стал местом забав, где вот уже четверть века протирают штанишки все шалуны предместья.

Большую живописность этому участку придавали кочующие цыгане, по традиции избиравшие его своим пристанищем. Только появившись в Плассане дом на колесах, в котором помещается целое цыганское племя, смотришь — он уже расположился в конце площади Святого Митра. Площадь никогда не пустует: по ней вечно бродит подозрительный люд — свирепые с виду мужчины, безобразные, высохшие женщины, а среди них в пыли барахтаются очаровательные цыганята. Народ этот живет на вольном воздухе, не зная стеснения, на глазах у всех варит пищу, ест что-то непонятное, развешивает свои отрепья, спит, дерется, обнимается, и от него исходит зловоние грязи и нищеты.

На мертвом, пустынном поле, где в былое время одни шмели жужжали вокруг пышных цветов, нарушая жаркую, душную тишину, стоит шум: кричат и ссорятся цыгане, орут мальчишки из предместья. Пронзительным голосам вторит глухой бас лесопильни, где со скрипом распиливают бревна. Лесопильня весьма примитивна: бревно кладут на высокие козлы, один пильщик становится сверху, на самом бревне, другой стоит внизу — опилки сыплются ему прямо в глаза, — и оба равномерным движением толкают взад и вперед

длинную крепкую пилу. Так долгими часами они наклоняются и выпрямляются, точно картонные паяцы, однообразно и четко, как машины. Напиленный лес складывают вдоль стены в конце площади штабелями по два-три метра вышиной, аккуратно, доска к доске, правильными кубами. Груды досок, похожие на квадратные скирды, простаивают здесь не одно лето и обрастают у подножия травой; в них одно из очарований площади Святого Митра. Между штабелями вьются таинственные узкие и укромные тропинки, которые ведут в широкий проход, оставленный между грудями досок и стеной, в уединенную зеленую просеку, откуда видна только полоса неба. В этой аллее, где стены выстланы мхом, а нога ступает как по пушистому ковру, еще царят буйные травы и трепетное молчание старого кладбища. Теплые, неуловимые дуновения смертной истомы поднимаются из старых могил, прогретых жарким солнцем. В окрестностях Плассана нет участка более волнующего, более насыщенного теплом, одиночеством и любовью. Вот где, должно быть, чудесно любить! Когда разрушали старое кладбище, то, наверное, именно в этом углу свалили кости; даже и сейчас порой наступаешь в сырой траве на осколок черепа.

Впрочем, никто уже не вспоминает о мертвецах, некогда покоившихся под этими травами. Днем лишь дети, играя в прятки, забегают за груды досок. Зеленая аллея лежит нетронутая, забытая. Прохожие видят только лесной склад, заваленный досками и серый от пыли. Утром и к вечеру, когда спадает зной, площадь кишит людьми, и над суетливой толпой, над детьми, играющими на бревнах, над цыганами, раздувающими огонь под котелками, вырисовывается в небе четкий силуэт пыльщика на бревне; он раскачивается взад и вперед, размеренно, словно маятник, и будто управляет всей этой новой, жадной жизнью, возродившейся на старом поле вечного покоя. И только старики, сидя на досках и греясь в лучах заходящего солнца, порой еще толкуют о костях, которые некогда перевозила по улицам Плассана легендарная двуколка.

К ночи площадь пустеет и зияет, как огромная черная яма; лишь где-то в глубине чуть светятся догорающие цыганские костры. Порою в густом мраке бесшумно мелькают чьи-то тени. Особенно жутко здесь в зимнее время.

Однажды в воскресенье, в начале декабря 1851 года, часов в семь вечера, из тустика Святого Митра тихо вышел молодой человек и стал пробираться между досками склада, крадучись вдоль стены. Стояла сухая морозная погода. Полная луна струила яркий белый

свет, какой бывает только зимою. В ту ночь все было безмолвно, все застыло от холода, и площадь уже не так зловецю чернела, как в ненастные ночи; она простиралась, залитая потоком лунного света, в неизъяснимой, тихой печали.

Юноша остановился на краю поля, настороженно глядя вперед. Он скрывал под курткой приклад длинного ружья; ствол, опущенный к земле, поблескивал в лунном свете. Прижимая оружие к груди, он пристально вглядывался в прямоугольные тени, падавшие от штабелей в глубине склада. На земле, точно на шахматной доске, чередовались резко очерченные белые и черные квадраты света и тени. Посреди площади, на сером голом грунте, вырисовывались козлы пыльциков, длинные, узкие, нескладные, похожие на чудовищную геометрическую фигуру, начерченную тушью. Казалось, что бревенчатый настил — широкое ложе, на котором дремлют лунные блики, чуть тронутые узкими черными тенями, скользящими вдоль досок. В сиянии зимней луны, в ледяном покое, балки, лежащие на земле, неподвижные, будто скованные холодом и сном, напоминали о мертвецах старого кладбища. Молодой человек окинул это пустынное место беглым взглядом: ни души, ни звука — нечего бояться, что кто-нибудь увидит или услышит. Но темные пятна в глубине смущали его. Все же, после короткого осмотра, он решительно и быстро пересек поле.

Очутившись под прикрытием, он пошел медленнее. В зеленом проходе между досками и стеной не слышно было даже звука шагов, чуть потрескивала под ногами замерзшая трава. У него сразу стало легко на душе: должно быть, он любил это место, где ничто не грозило ему, где его ждало только хорошее и приятное. Он уже не прятал ружья. Аллея лежала перед ним как темная просека; лунный луч скользил между досками, и полоса света прорезала траву. Все спало, и тени, и лунные блики, глубоким, сладким и печальным сном. Каким покоем веяло от тропинки! Молодой человек прошел по ней до конца. В том месте, где стены Жа-Мефрена образуют угол, он остановился, прислушался, не донесется ли какой-нибудь звук с соседнего участка. Ничего не услышав, он нагнулся, раздвинул доски и спрятал между ними ружье.

Здесь, в углу, была древняя надгробная плита, забытая при перенесении старого кладбища и поставленная ребром, немного наискось, как высокая скамейка. Дожди источили ее края, мох медленно разжедал ее, но при свете луны можно было разобрать остатки надписи, высеченной на лицевой стороне плиты, врезавшейся в землю: «Здесь покоится... Мария... усопшая...» Остальное стерло время.

Спрятав ружье, молодой человек прислушался еще раз. Но, ничего не услышав, взобрался на камень. Стена была низенькая; он облокотился на нее. За рядами тутовых деревьев, посаженных вдоль стены, видна была только равнина, залитая светом; поля Жамефрена, ровные, без единого деревца, расстилались в лунном сиянии, как огромные полотнища сурового холста. Шагах в ста от стены яркими белыми пятнами выделялись жилой дом и службы. Юноша пристально смотрел в ту сторону, как вдруг часы на городской башне медленно, торжественно пробили семь раз. Он сосчитал удары и спрыгнул с камня, удивленный и успокоенный. Затем сел на камень, видимо приготовившись к долгому ожиданию, и как будто даже не чувствовал холода. Более получаса просидел он в глубоком раздумье, не двигаясь, устремив глаза в темноту. Уголок, который он облюбовал, был сначала в тени, но луна поднималась все выше, и наконец голова юноши оказалась на свету.

Он был молод, крепок. Тонко очерченный рот и нежная кожа говорили о юности. Ему, вероятно, было лет семнадцать. Он был хорош своеобразной, характерной красотой.

Худощавое, продолговатое лицо, казалось, было вылеплено рукой могучего скульптора. Крутой лоб, нависшие брови, орлиный нос, резкий широкий подбородок, выдающиеся скулы придавали лицу особую рельефность. С годами оно, вероятно, стало бы костлявым, приобрело бы сухость, свойственную облику странствующего рыцаря, но сейчас, в пору возмужалости, некоторая жесткость лица, покрытого легким пушком на щеках и подбородке, скрашивалась какой-то очаровательной нежностью, детской незавершенностью отдельных линий. Теплые черные глаза, глаза отрока, тоже смягчали энергичное выражение лица. Юноша понравился бы не всем женщинам; он был далек от того, что принято называть красавцем, но черты его дышали такой полнотой жизни, такой привлекательностью, были одухотворены такой восторженностью и решимостью, что, наверное, девушки этого края, смуглые девушки Юга, заглядывались на него, когда он в жаркие июльские вечера проходил мимо их калиток.

Юноша все еще сидел, задумавшись, на надгробной плите, не чувствуя, как лунный свет струится у него по груди и коленям. Он был среднего роста, широкоплеч, с крепкими руками, руками мастерового, уже успевшими огрубеть от работы; ноги, обутые в тяжелые шнурованные башмаки, тоже были крепкие, с широкими ступнями. Широкая кость, форма рук и ног, неуклюжесть манер изобличали

в нем простолюдина; но в гордой посадке головы, в блеске умных глаз чувствовался глухой протест против отупляющей черной работы, которая пригибала его к земле. Под тяжеловесностью, присущей его породе, его классу, угадывался природный ум, тонкая, нежная душа, придавленная, страдающая оттого, что не может, сияя, вознестись над своей грубой оболочкой. И поэтому, несмотря на всю свою силу, он был робок и неуверен. Он бессознательно стыдился своего несовершенства и того, что не знает, как достичь совершенства. Это был славный малый; его невежественность претворилась в энтузиазм; мужественное сердце юноши, управляемое еще ребяческим разумом, было способно и на беззаветную преданность, и на героический подвиг. В тот вечер он был одет в вельветовые брюки и куртку зеленоватого оттенка. Мягкая фетровая шляпа, сдвинутая на затылок, отбрасывала на лоб полосу тени.

Когда башенные часы пробили половину, он вдруг очнулся от раздумья и, заметив, что весь залит лунным светом, тревожно оглянулся. Он быстро откинулся в темный угол; нить его мыслей была прервана. Тут он почувствовал, что руки и ноги у него заоченели, и его охватило нетерпение. Еще раз он влез на камень и заглянул через стену в Жа-Мефрен, но там было по-прежнему пусто и тихо. Не зная, как убить время, он спрыгнул с камня, вынул ружье из груды досок и начал, забавляясь, поднимать и спускать курок. Это был длинный тяжелый карабин, несомненно принадлежавший раньше какому-нибудь контрабандисту; по толщине приклада и массивности ложа можно было узнать старое кремневое ружье, переделанное местным оружейником. Такие карабины еще встречаются в деревнях, где их вешают над очагом. Молодой человек любовно поглаживал свое ружье; он раз двадцать спускал курок, засовывал мизинец в дуло, внимательно рассматривал приклад. В его юношеском энтузиазме было еще много ребяческого. Наконец он приложил ружье к щеке и начал целиться в пустоту, как новобранец на ученье.

Скоро должно было пробить восемь часов. Юноша все еще целился, как вдруг с Жа-Мефрена донесся тихий, задыхающийся голос, легкий, как вздох.

— Ты здесь, Сильвер? — спросил кто-то.

Сильвер бросил ружье и одним прыжком очутился на плите.

— Да, да, — ответил он тоже приглушенным голосом. — Постой, я тебе помогу.

Но не успел юноша протянуть руку, как над стеной показалась девушка. Необычайно ловко, словно кошка, она вскарабкалась по стволу тутового дерева. Движения ее были уверенны и легки; видно

было, что она не раз пользовалась этим путем. Миг — и она очутилась на стене. Сильвер подхватил ее и перенес на скамью. Она отбилась.

— Пусти, — говорила она, заливаясь детским смехом. — Да пусти же... я сама могу спуститься.

Усевшись на камне, она спросила:

— Ты давно ждешь?.. Я бежала изо всех сил, совсем задохнулась.

Сильвер не ответил. Ему было не до смеха, и он грустно глядел на девушку. Сев рядом с ней, он сказал:

— Мне нужно было с тобой увидеться, Мьетта. Я прождал бы всю ночь. Завтра, на рассвете, я ухожу.

Тут Мьетта заметила ружье, валявшееся в траве. Она сразу стала серьезной и прошептала:

— А!.. Так, значит, решено... вон и ружье...

Наступило молчание.

— Да, — неуверенно ответил Сильвер. — Это мое ружье. Я унес его из дому с вечера, а то утром тетя Дида увидит, что я его беру, и разволнуется... Я его спрячу, а перед уходом зайду сюда за ним.

Мьетта не могла отвести глаз от ружья, неосторожно брошенного на траве, поэтому Сильвер встал и снова засунул его между досками.

— Утром мы узнали, — сказал он, садясь на плиту, — что повстанцы Палю и Сен-Мартен-де-Во уже вышли и прошлой ночью стояли в Альбуазе. Решено идти на соединение с ними. Сегодня часть плассанских рабочих уже ушла из города, завтра и остальные уходят к своим братьям.

Он произнес слово «братья» с юношеским восторгом. Потом, воодушевляясь, добавил звенящим голосом:

— Борьба становится неизбежной, но правда на нашей стороне, и мы победим.

Мьетта слушала Сильвера, глядя вдаль и ничего не видя. Когда он кончил, она сказала просто:

— Это верно.

Помолчав, она добавила:

— Ты меня предупреждал... а я все же надеялась... Ну что ж, решено...

Оба не находили слов.

В глухом закоулке на зеленой просеке стало печально и тихо. Только луна кружила по траве тени от досок. Фигуры юноши и девушки, сидевших на надгробной плите в бледном свете луны, были неподвижны и безмолвны, как изваяния. Сильвер обнял Мьетту,

и она прижалась к его плечу. Они не целовались, в их объятии была трогательная и чистая братская нежность.

Мьетта куталась в широкий коричневый плащ с капюшоном, который скрывал всю ее фигуру и спускался до самой земли. Видны были только голова и руки. Простолюдинки — крестьянки и работницы — носят еще в Провансе такие широкие плащи; их называют здесь шубами, и мода на них восходит к незапамтным временам. Мьетта, придя на свидание, откинула капюшон. Она привыкла жить на вольном воздухе, кровь в ней кипела, и ей не нужны были головные уборы. Ее непокрытая голова резко выделялась на фоне белой от лунного света стены. Мьетта была еще девочкой, но девочкой, которая превращалась в женщину. Для нее наступила та чудесная пора, когда во вчерашнем подростке пробуждается девушка. В эту пору появляется нежность нераспустившегося цветка: незаконченность форм полна несказанной прелести; округлые и сладострастные линии уже намечаются в невинной худобе ребенка — в нем рождается женщина с ее первой целомудренной застенчивостью, она еще медлит расстаться с детским телом, но уже невольно каждая ее черта носит на себе отпечаток пола. Для иных девушек это неблагодарная пора: они вытягиваются, дурнеют, становятся желтыми, хилыми, как распустившиеся до времени растения. Но для Мьетты, как и для всех девушек с горячей кровью, растущих на воле, это была пора волнующей, неповторимой грации. Мьетте минуло тринадцать лет. Хотя она была рослой и сильной для своего возраста, ей все же нельзя было дать больше — такой простодушной и ясной улыбкой освещалось ее лицо. Но она, вероятно, уже достигла зрелости, под влиянием климата и сурового образа жизни в ней быстро расцвела женщина. Мьетта была почти одного роста с Сильвером, крепкая и задорная, жизнь была в ней ключом. Как и ее друг, она не была хороша в общепринятом смысле этого слова. Правда, никто не назвал бы ее дурнушкой, но многим красивым молодым людям она показалась бы, по меньшей мере, странной. Волосы у нее были великолепные: черные как смоль, жесткие и прямые у лба, они поднимались подобно набегающей волне, струились по темени и затылку, как море, подернутое зыбью, волнующееся, непокорное, своевольное. Они были так густы, что Мьетта не могла с ними справиться. Она скручивала их жгутами толщиной в детский кулак, чтобы они занимали поменьше места на голове, и прикалывала на затылке. И хоть ей было не до причесок, этот узел, уложенный наспех и без зеркала, приобретал под ее пальцами какое-то особое изящество. Глядя на этот живой шлем, на эту массу кудрявых волос, выбивавшихся на висках

и закрывавших шею, как звериная шкура, можно было понять, почему девушка ходит с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и стужу. Низкий лоб под темной чертой волос формой и золотистым оттенком напоминал полумесяц. Большие выпуклые глаза, короткий, чуть вздернутый нос, широкий у ноздрей, крупные, слишком алые губы — все эти черты в отдельности были бы нехороши, но в целом, на очаровательном округлом и подвижном лице, они производили впечатление своеобразной и яркой красоты. Когда Мьетта смеялась, запрокинув голову и томно склонив ее на правое плечо, она походила на античную вакханку своей грудью, трепещущей от звонкого смеха, детскими круглыми щеками, белыми крупными зубами, кудрями, которые развевались вокруг головы и словно украшали ее венком из виноградных лоз. Чтобы снова увидеть в ней невинную девочку, тринадцатилетнего ребенка, надо было заметить, как чистосердечен этот звучный, ласкающий смех, и, главное, разглядеть, как детски нежны линии подбородка, как чисто и ясно ее чело. Загорелое лицо Мьетты порой отливало янтарем. Легкий черный пушок уже сейчас оттенял верхнюю губу. Грубая работа успела испортить маленькие руки, которые праздность могла бы превратить в прелестные пухлые ручки буржуазной дамы.

Мьетта и Сильвер долго сидели молча. Они угадывали тревожные мысли друг друга. Вместе они погружались в страшную неизвестность завтрашнего дня, и все теснее становилось их объятие. Они проникали друг другу в самое сердце; оба молчали, чувствуя, что жалоба, высказанная вслух, была бы ненужной жестокостью. Но Мьетта не могла больше сдерживаться; она задыхалась, и все, что волновало их обоих, выразила в нескольких словах.

— Ты вернешься, правда? — шепнула она, обвив рукой его шею.

Сильвер не отвечал, у него сжалось горло, и, боясь расплакаться, не находя другого утешения, он поцеловал ее в щеку, как брат. Они отодвинулись друг от друга, и снова наступило молчание.

Вдруг Мьетта вздрогнула. Она не опиралась больше на плечо Сильвера и почувствовала, что все ее тело застыло от холода. Еще вчера она не дрожала бы в этом глухом углу, на этой надгробной плите, где, окруженные вечным покоем, под защитой мертвецов, они столько месяцев были счастливы своей любовью.

— Как холодно, — сказала она, накрывая голову капюшоном.

— Давай походим, — предложил Сильвер, — еще нет девяти, пройдемся по дороге.

Мьетта подумала, что теперь она надолго лишится радости свиданий, вечерних разговоров, ради которых она жила весь день.



СОДЕРЖАНИЕ

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»	5
КАРЬЕРА РУГОНОВ	
<i>Перевод Е. Александровой</i>	7
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЭЖЕН РУГОН	
<i>Перевод Е. Лопыревой, Э. Линецкой</i>	287
ДОБЫЧА	
<i>Перевод Т. Ириновой</i>	617